

Борис Кагарлицкий

МЕЖДУ КЛАССОМ И ДИСКУРСОМ

*Левые интеллектуалы
на страже капитализма*



СЕРИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



Политическая теория

Борис Кагарлицкий

**Между классом и дискурсом.
Левые интеллектуалы
на страже капитализма**

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)»

2017

УДК 329.1
ББК 66.62

Кагарлицкий Б. Ю.

Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма / Б. Ю. Кагарлицкий — «Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2017 — (Политическая теория)

ISBN 978-5-7598-1675-1

Политологическое исследование Бориса Кагарлицкого посвящено кризису международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом капитализма. Вопреки распространенному мнению, трудности, которые испытывает капиталистическая система и господствующая неолиберальная идеология, не только не открывают новых возможностей для левых, но, напротив, демонстрируют их слабость и политическую несостоятельность, поскольку сами левые давно уже стали частью данной системы, а доминирующие среди них идеи представляют лишь радикальную версию той же буржуазной идеологии, заменив борьбу за классовые интересы защитой всевозможных «меньшинств». Кризис левого движения распространяется повсеместно, охватывая такие регионы, как Латинская Америка, Западная Европа, Россия и Украина. На этом фоне выделяются отдельные истории успеха, такие как избрание Джереми Корбина лидером Лейбористской партии Великобритании или стремительный рост популярности сенатора-социалиста Берни Сандерса в США. Но подобные успехи не могут стать основанием для нового глобального тренда, если не будут осмыслены и поняты в контексте формирования новой политики, преодолевающей диктат либеральной политкорректности. Левые смогут вернуть себе прежнее влияние, если сами вернутся к классовой повестке. Однако в условиях, когда структура общества радикально изменилась, возвращение к классовой политике отнюдь не означает повторения устаревших формул и лозунгов прошлого века. Необходимо опираться на сегодняшние интересы и потребности трудящихся, выстраивая на этом основании новую программу, объединяя людей и ставя всерьез вопрос о борьбе за власть. Книга предназначена широкому кругу

читателей, интересующихся проблемами политической истории, социологии и экономики. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 329.1

ББК 66.62

ISBN 978-5-7598-1675-1

© Кагарлицкий Б. Ю., 2017

© Высшая Школа Экономики
(ВШЭ), 2017

Содержание

Введение	7
I. Логика фрагментации	18
Кульτ креативного бездельника	19
Глобализация и труд	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Борис Кагарлицкий
Между классом и дискурсом. Левые
интеллектуалы на страже капитализма

© Кагарлицкий Б. Ю., 2017

* * *

Введение

В конце 2007 г. череда финансовых кризисов дестабилизировала экономику Соединенных Штатов. После того как обанкротился банк Lehman Brothers, один из пяти крупнейших в Америке, на биржах началась паника, подобная той, что знаменовала начало Великой депрессии в 1929 г. Как и положено, рецессия в Америке дала старт аналогичным неприятностям по всей планете. В 2008 г. спад производства охватил основные регионы мировой экономики, за исключением лишь Китая и нескольких стран Восточной Азии, сохранявших инерцию роста. На первых порах казалось, что сценарий Великой депрессии повторяется. Но к лету 2009 г. ситуация на рынках стабилизировалась. Добиться этого удалось за счет активного государственного вмешательства: правительство и Федеральная резервная система США предоставили банкам триллионы долларов для закрытия текущих обязательств и предотвращения дальнейших банкротств. Продолжая заявлять о верности принципам частного предпринимательства и свободного рынка, правительства ведущих стран активно прибегали к национализации. Китай развернул беспрецедентную программу строительства инфраструктуры и новых городов. По дорогам, которые были проложены в рамках этой программы, никто не ездил, а в городах, построенных ради освоения выделенных средств, никто не жил, но подобные отчаянные меры позволили повысить мировой спрос. Поскольку к 2010 г. обвальная спад прекратился, а мировая и американская экономика начали показывать рост, пусть и очень слабый, эксперты и политики поспешили заявить об окончании кризиса. Произошедшие неприятности окрестили *Великой рецессией*, тем самым давая понять, что речь шла пусть и об очень драматичных, но краткосрочных событиях, по сути, не выходящих за рамки стандартного рыночного цикла.

Между тем кризис был еще очень далек от завершения.

Молдавский историк и политический деятель Марк Ткачук писал в 2015 г., что хотя произошедшие события полностью дискредитировали господствующие парадигмы либерально-буржуазного сознания, еще недавно казавшиеся очевидными и незыблемыми, не было никакого основания говорить о торжестве какой-то новой идеологии или парадигмы развития. «И мы видим пока единственную и совершенно предсказуемую реакцию на этот исторический вызов. Эта реакция обнаруживает себя в облике консервативных поисков былого величия, попытках отгородиться, изолироваться, спрятаться от реальности, найти убежище в рукотворной реконструкции всего того, чего никогда не было – радикального ислама, православного фундаментализма, общеевропейской ментальности, вечного конфликта Запада и Востока, Юга и Севера»¹.

Несмотря на то что подтвердились с предельной точностью все предсказания и предостережения критиков неолиберального экономического порядка, «нет никаких оснований утверждать, что пережитый недавно кризис видоизменил существующие глобальные стратегии. Правящие элиты по-своему легко адаптировались к существующему положению вещей и безоглядно сделали шаг навстречу тому построенному миру, который, как выяснилось, не только оказался не *нашим*, но еще и не *новым*»².

Меры по стабилизации кризиса, предпринятые правящими элитами, превратили резкий спад в затяжную деградацию, создав так называемую новую нормальность, когда даже на уровне обывательского сознания возникло предчувствие, что если сегодня хуже, чем вчера, то завтра будет хуже, чем сегодня. Кризис изменил свою форму, перешел на новый уровень, к новому этапу. Систематически проводимая политика спасения государством частных бан-

¹ Ткачук М. Грядущее прошлое. Три эссе о рождении, гибели и надежде. Кишинев: Stratum plus, 2015. С. 249.

² Там же. С. 211.

ков и компаний привела лишь к тому, что кризис корпоративных финансов сменился кризисом бюджетного дефицита правительств. В свою очередь, государственные органы не находили иного способа стабилизировать свое финансовое положение, кроме как проводя меры жесткой экономии за счет большинства трудящихся. Таким образом происходило радикальное перераспределение средств от среднего класса и низов общества к корпоративным и финансовым элитам. Кризис экономический стабилизировался за счет возникновения предпосылок для кризисов социальных и политических.

В условиях глобализации финансовые центры оказались способны эффективно перемещать свои проблемы на периферию, что, в свою очередь, привело к тому, что более слабые и более зависимые страны погрузились в глубочайшую депрессию, усугубляемую прогрессирующим долговым кризисом. Причем это относилось не только ко «внешней периферии» Запада (бывшим колониальным и зависимым странам, получившим в 1960-е годы название «третьего мира»), но и к «внутренней периферии» Европейского союза – государствам, с запозданием интегрированным в этот клуб развитых стран. Страны Южной Европы и Ирландия, которые еще за несколько лет до того приводились экспертами в качестве примеров успешного развития и модернизации, оказались на грани банкротства. Финансовая система Европейского союза, частью которой сделались эти страны, столкнулась с ситуацией перманентной турбулентности, когда краткосрочные меры по спасению той или иной страны лишь готовили новый виток финансовой нестабильности в самом ближайшем и хорошо предсказуемом будущем.

Зона единой европейской валюты, которая еще недавно была предметом гордости банкиров и бюрократов, превратилась в источник многочисленных проблем. С того самого момента, когда евро был введен в качестве общей денежной единицы для стран с весьма различной экономикой и социальными порядками, эксперты предупреждали, что подобная финансовая интеграция, хоть и будет стимулировать на первых порах потребительский спрос (за счет более легкого доступа граждан относительно бедных стран к кредитам из стран более развитых), в конечном счете приведет к серьезной дестабилизации всей системы. Теперь эти пророчества самым радикальным образом сбывались. Для поддержания курса евро по отношению к доллару Европейский центральный банк вынужден был систематически душить экономику менее успешных стран, которые просто не могли свести концы с концами при искусственно низкой инфляции. В итоге те, кто и раньше отставали от лидеров европейской интеграции, были отброшены еще дальше назад безо всяких шансов догнать своих более удачливых партнеров. В свою очередь, трудности, которые испытывал Европейский союз, толкали его политических и деловых руководителей на путь внешней экспансии, что очень быстро привело к столкновению с Россией.

В начале 2000-х годов Москва не мыслила иной внешней политики, кроме как основанной на партнерстве с европейским Западом, в котором видели не только экономического партнера и потребителя сырья, но и противовес американской глобальной гегемонии. К середине 2010-х годов Россия и Европейский союз уже находились в жесткой конфронтации из-за борьбы за влияние на бывшие советские республики – Украину, Молдавию и Белоруссию.

Для российских правящих кругов конфронтация с Западом послужила великолепным способом объяснить нарастающие внутренние трудности, которые на самом деле были порождены господствующим экономическим и социальным порядком – общим и для нашей страны, и для Запада. Еще до 2014 г., когда разразился конфликт на Украине, трудности начали испытывать все ведущие незападные экономики – государства Латинской Америки, а затем Россия и Китай. Однако динамика развития кризиса была не равномерной и не синхронной. В итоге проблемы одних оборачивались успехом и ростом влияния других только для того, чтобы вскоре обнаружилось, насколько преждевременным было торжество.

Спад экономики США и Западной Европы в 2008–2010 гг., происходивший на фоне относительной стабильности в Китае, Индии и Бразилии, изменил глобальное соотношение

сил, создав в этих государствах иллюзию возможности превращения в новые центры мировой капиталистической системы. Из-за мер по спасению и стимулированию банков, принимавшихся в Америке, финансовые рынки были наводнены долларами. Средства, предоставлявшиеся корпорациям, не достигали рядового американского потребителя и не стимулировали спрос. Они уходили на спекулятивный рынок и в заграничные инвестиции в страны, где прибыль можно было получить быстро. В итоге росли не только экономики Китая или Бразилии, но и цены на сырье. Спекулятивный ажиотаж на нефтяном рынке обеспечил искусственно высокие показатели экономического роста России, правящие круги которой восприняли это как доказательство собственного успеха.

Элиты России, Китая, Индии и Бразилии, преодолев первоначальную панику, вызванную событиями 2008 г., настроены были использовать кризис для пересмотра в свою пользу глобального баланса политических сил. Основание для таких надежд давали не только сравнительно высокие (особенно на фоне стагнации Запада) темпы роста промышленности, но и масштабы производства, относительная стабильность валют и размеры рынков в этих странах, а также претензии на региональную гегемонию. Все перечисленные государства оставались региональными лидерами, обладающими значительным военным, политическим и интеллектуальным потенциалом. Западные журналисты объединили эти страны в единую группу БРИК: Бразилия, Россия, Индия, Китай. Позднее сюда же присовокупили и Южную Африку, после чего возникла новая аббревиатура – БРИКС (BRICS, где «S» for South Africa).

Лидеры перечисленных стран отнеслись к изобретению журналистов с крайней серьезностью, начав проводить многосторонние консультации, встречи на высшем уровне и запустив совместные проекты. Было принято решение организовать совместный банк и другие структуры, призванные в перспективе стать если не заменой, то во всяком случае дополнением к системе институтов, созданных Западом после Второй мировой войны. Однако несмотря на постоянно звучавшую критику существующего мирового порядка, оставалось совершенно неясным, чем этот порядок должен быть заменен, на каких основаниях реформирован. Подобное противоречие являлось совершенно закономерным следствием положения самих правящих классов и господствующих элит БРИКС. С одной стороны, они стремились повысить свой статус в глобальной системе, но с другой – сами являлись порождением и частью этой системы, а их политика по отношению к собственному народу, методы накопления и использования капиталов, как и способы поддержания власти отнюдь не были альтернативными по отношению к порядкам, насаждавшимся по всему миру в ходе неолиберальных реформ.

Надежды на то, что страны БРИКС станут новым коллективным локомотивом, а возможно, и гегемоном мировой экономики, вытаскивающим ее на новую траекторию роста, сохранялись вплоть до конца 2014 г., когда новая волна кризиса накрыла и их. Валюты всех этих стран начали испытывать растущие трудности и обесцениваться, закрывались предприятия, сокращалось потребление. Глобальный кризис не удавалось преодолеть. Все предпринимаемые меры приводили к тому, что он лишь перемещался из одной мировой экономической зоны в другую.

Парадоксальным образом основной причиной подобной «живучести» и непреодолимости кризиса являлась стабильность политической и социальной системы ведущих стран мира. Несмотря на то что кризис был порожден исчерпанием возможностей экономического роста в рамках господствовавшей с 1990-х годов неолиберальной модели капитализма, политические и социальные институты были повсюду настолько прочны, что эффективно блокировали любые попытки содержательных перемен. Система продолжала воспроизводиться даже при том, что ее экономические и социальные основания уже были подорваны.

Другой вопрос, что каждый следующий цикл воспроизводства лишь усугублял кризис. Краткосрочные проблемы решались за счет увеличения социально-экономических диспропорций и усиления всех противоречий не только в долгосрочной, но даже и в среднесрочной пер-

спективе. Поскольку теперь воспроизводство не могло быть устойчивым, для поддержания равновесия постоянно требовались дополнительные ресурсы. Их надо было откуда-то брать. В результате правящие круги реагировали на кризис политикой «жесткой экономии» (austerity), которая позволяла поддерживать воспроизводство крупного капитала за счет все более массового изъятия ресурсов у основных классов и слоев общества (включая и изрядную часть буржуазии). Одновременно возникает потребность в новой волне геополитической и геоэкономической экспансии для капиталов стран западного центра. В условиях, когда весь мир, за исключением только Кубы, Северной Кореи и болот тропической Африки, уже и без того был включен в систему глобального капитализма и жил по его правилам, экспансия могла разворачиваться лишь в форме «возвращения», «повторного прихода» (revisiting), когда страны, однажды уже подвергшиеся неолиберальной реконструкции, должны были пережить ее снова, в еще более жестких и радикальных формах. Ирландия, страны Южной и Восточной Европы, республики бывшего Советского Союза, ранее более или менее успешно вписавшиеся в мировую систему, столкнулись с растущим давлением, не только экономическим, но и политическим. При этом подрывались и отменялись те самые компромиссы и социальные механизмы, которые на предыдущем этапе делали сложившийся экономический порядок устойчивым.

Параллельно пересматривались и условия компромисса между локальными и глобальными элитами, правящими классами центра и периферии, когда ресурсы, ранее остававшиеся в распоряжении последних, теперь должны были поступить в распоряжение первых. На идеологическом уровне это выразилось в том, что западные правящие круги вдруг стали проявлять крайнюю озабоченность коррумпированностью и авторитаризмом периферийных правительств и олигархий. Политико-экономическая перестройка, которая позволила бы решить подобные проблемы, означала бы неминуемое замещение местных элит, сохранявших достаточно высокий уровень автономии, командами управленцев, непосредственно контролируемых международными институтами, транснациональными корпорациями и надгосударственными объединениями, самым заметным из которых являлся Европейский союз. В конечном счете подобный же подход начал все более доминировать и по отношению к самим западным странам, что, в свою очередь, породило новую волну недовольства и конфликтов.

Поскольку политические системы ведущих стран сохраняли стабильность, система начала рушиться «по краям» в государствах со слабыми институтами – от Египта до Украины. Эти восстания и революции вдохновлялись совершенно различными идеями – от прогрессивных, демократических и левых до националистических и реакционных³. Однако общим для них было то, что в странах со слабой, зависимой экономикой, отсутствием собственных государственных традиций, неразвитой политической культурой и дезорганизованным обществом они не открывали перспективы для реализации новой модели развития, которая могла бы дать импульс переменам в остальном мире. Перевороты, восстания и революции делали разрушительную работу, но как только вставал вопрос о работе позитивной, созидательной, они терпели неудачу. В результате политические потрясения оборачивались наступлением реакции, когда, за редкими исключениями⁴, новая власть (если ей вообще удавалось укрепиться) оказывалась хуже старой. Политические и социальные отношения приходили в состояние хронической нестабильности, выйти из которой не удавалось, новая логика общественного воспроизводства не складывалась.

³ Анализ «первой волны» революций и восстаний, порожденных Великим кризисом, см.: Кагарлицкий Б. Неолиберализм и революция. СПб.: Полиграф, 2013. Термин «Великий кризис» здесь употребляется по аналогии с Великой депрессией.

⁴ Единственным успешным результатом демократических попыток 2010–2012 гг. в арабском мире стала революция в Тунисе, где более или менее была скопирована французская политическая модель. В странах постсоветского пространства ситуация оказалась еще хуже – до тех пор, пока перемены не захватывали Россию, в равной степени обреченными оказывались и попытки установить националистический режим в Киеве, и борьба за социальное государство в противостоявшей ему Новороссии.

Не только угнетенные массы, но и значительные слои буржуазии начинали испытывать растущий стресс, перерастающий в потребность сопротивляться проводимой политике. Это сопротивление, по большей части непоследовательное и вынужденное, нарастало по всему миру. Если в 2014 г. зоной нестабильности и конфронтации были Греция и Украина, то в 2016 г. острые политические и социальные конфликты развернулись уже в Соединенных Штатах, Франции и Великобритании.

Великая рецессия была не более, чем эпизодом куда более масштабной и глубокой исторической драмы, значение и последствия которой могут быть не меньшими, чем это было в случае с событиями 1929–1932 гг. Происходящее можно назвать *Великим кризисом*.

В конечном счете именно стремление правящих элит ведущих стран любой ценой защитить неолиберальную модель капитализма, экономически подорванную кризисом после 2008 г., вело к постепенному, но неуклонному разрастанию политической нестабильности, превратившейся к концу 2016 г. в своего рода *глобальную революционную ситуацию*. Институты, препятствующие назревшим переменам, должны пасть не только потому, что превратились в тормоз развития общества, но и потому что, стремясь сохранить себя в неизменности, они лишь усугубляют кризис, подрывают базовые условия собственного существования и воспроизводства. Сохранение в неизменности политической системы повсеместно требовало мер, ведущих к дестабилизации социальных отношений, что, в свою очередь, сводило к минимуму шансы политической системы на выживание.

В такой обстановке политический кризис неминуемо принимал формы масштабного общественного потрясения, а вопрос о том, готовы ли массы той или иной страны к подобному повороту событий, созрели ли там объективные и субъективные предпосылки для революционных перемен, уходил на второй план, поскольку общество за обществом, страна за страной втягивались в водоворот *глобального* кризиса – независимо от их воли и готовности к переменам. Однако ровно в той мере, в какой проявляла себя на мировом уровне *объективная* динамика распада неолиберальной модели, очевидной становилась и несостоятельность пресловутого *субъективного* фактора в лице левых и антикапиталистических движений, партий и организаций, унаследованных от предшествующего этапа развития капитализма. Проблема не сводилась ни к организационной слабости, ни к идейной отсталости, ни к «непопулярности» левых идей, дискредитированных поражением Советского Союза, сталинскими репрессиями или неудачами других социалистических проектов. Напротив, постоянные ссылки на все эти обстоятельства были не более чем удобным оправданием, скрывавшим куда более серьезную драму.

Отнюдь не отсутствие новых идей превращало левых в беспомощных наблюдателей разворачивавшегося вокруг них кризиса. Напротив, именно тогда, когда те или иные политики готовы были *всерьез* апеллировать к традиционным идеям и лозунгам рабочего и социалистического движения – от национализации до борьбы за социальное государство – они с невероятной быстротой достигали успеха, даже не имея прочной организационной базы, стремительно завоевывали себе сотни тысяч, а порой и миллионы новых сторонников. Так произошло с избранием Джереми Корбина лидером Лейбористской партии Великобритании или с внезапным превращением Берни Сандерса, никому не известного сенатора от штата Вермонт, в одного из ведущих политиков Америки. Но именно эти прорывы с особой остротой демонстрировали системную слабость левых, которые оказывались не готовы к новой ситуации, были растеряны и напуганы ею не меньше, а значительно больше представителей правящего класса.

За организационной и идейной слабостью скрывалась совершенно иная, куда более масштабная и трагическая проблема фатального разрыва между левыми и обществом, превращение левого политического и интеллектуального «класса» в органическую часть либерального проекта и безнадежная маргинализация всех тех, кто не готов был или не пожелал в этот проект вписаться.

Политический режим, установившийся в развитых европейских странах и США, конечно, не является авторитарным, но не является и демократическим в том смысле, к какому общество привыкло на протяжении XX в. Его можно назвать *либеральной постдемократией*⁵. Фундаментальным принципом такого режима является открытое, а часто даже демонстративное, игнорирование общественного мнения и воли большинства при одновременном соблюдении всех формальностей и процедур демократии. В итоге игнорируемое и систематически унижаемое большинство то и дело оказывается вынуждено выражать свою волю и защищать свои интересы за пределами официальных демократических институтов, которые оказались приватизированы привилегированной группой политиков, лишь условно разделяемых на правых и левых. Политической основой этого порядка становится круговая порука буржуазных элит при негласном (а иногда и открытом) пособничестве левых, давно уже интегрированных в эту систему и коррумпированных ею.

По сути дела, демократический процесс превращается в спектакль-симуляцию, оформляющую результаты решений и компромиссов, достигнутых за пределами публичной сферы. Французский философ Ги Дебор еще в 1960-е годы писал про превращение демократии в «общество спектакля»⁶, ссылаясь на растущую мощь телевидения и выветривание содержания из публичных дискуссий, но в те времена его образ был скорее гиперболой и предостережением, чем описанием реально происходящих процессов. Напротив, начиная со второй половины 1990-х годов, пророчество Дебора начинает сбываться самым трагическим образом – не только и не столько из-за растущей мощи массмедиа, сколько из-за того, что правящие круги сумели успешно интегрировать в свою систему бывших лидеров протеста, интеллектуалов, а зачастую и массовые организации трудящихся – партии и профсоюзы, превратив *реформистские* структуры в *соглашательские*, и лишив социальные движения практической перспективы.

В такой ситуации даже организация протестов ритуализируется и обесмысливается, зачастую преследуя единственную цель «выпуска пара». Демонстрации и митинги, как и гневные статьи в прессе, по сути, превращаются в дополнительный метод легитимации принимаемых элитой решений, поскольку организаторы подобных акций не ставят перед собой задачи *практически* блокировать критикуемый ими процесс, а лишь выражают к нему «отношение», что сути происходящего никак не меняет. Пройдя по улицам с плакатами и воздушными шариками, толпы недовольного народа расходятся по домам, а организаторы шествия из числа интеллектуалов, политиков и профсоюзных лидеров возвращаются в свои офисы или идут заседать в парламентские комиссии вместе со своими «идейными противниками».

Акции протеста из средства массовой мобилизации на борьбу против политики элит превращаются в замену этой борьбы, в очередной спектакль, не предполагающий никаких последствий в общественной реальности. Никакой стратегии борьбы, никакой эскалации, никакого развития эти действия не достигают.

При таком положении дел несогласным просто «некуда идти», не к кому обратиться, поскольку патентованные борцы против системы сами являются ее частью, нередко – самой коррумпированной и бессовестной. Однако эскалация начинает происходить стихийно, подогреваемая гневом и фрустрацией масс, которые уже невозможно удерживать в рамках ролей, отводимых им в спектакле. Чем более открытыми и наглыми являются нарушения гражданских и социальных прав, тем более радикальными становятся протесты. Эта инерция протеста начинает захватывать отдельных представителей системы, готовых рискнуть своим положением ради новых открывающихся возможностей или просто смертельно уставших от своих ролей в бесконечном и бессмысленном спектакле, а деятели, которые много лет пребывали

⁵ Термин «постдемократия» введен в оборот современных политических дискуссий Колином Краучем. См.: Крауч К. Постдемократия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. (Crouch C. Post-democracy. Cambridge: Polity Press, 2005).

⁶ Дебор Г. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2014.

на обочине политического процесса, оставаясь внутрисистемными маргиналами, неожиданно превращаются в лидеров массовых движений, политиков первого ряда.

Улица заменяет парламентскую трибуну не потому, что массы недовольных не желают голосовать или участвовать в официальных дебатах, а потому, что они туда не допущены, их права и воля блокированы элитным сговором. В свою очередь, на рост протестных движений система отвечает репрессивными методами и обвиняет сопротивляющихся в неуважении к демократическим процедурам, от которых сама же этих людей отстранила. Типичными примерами подобных ситуаций могут быть протесты против нарушения избирательных прав в США или против Трудового кодекса во Франции весной 2016 г. В обоих случаях официальные круги открыто и демонстративно нарушали демократические процедуры – закрывали участки для голосования, вычеркивали людей из списков избирателей, фальсифицировали итоги выборов или, как во Франции, проводили законодательство в обход парламента. Но судебные инстанции на это не реагировали или реагировали крайне вяло, результаты подтасованного голосования оставались в силе даже после того, как нарушения были признаны, а законодательство, принятое в обход демократической процедуры, вступало в силу. Не удивительно, что подобная ситуация подогревала гнев и радикализировала протест, после чего официальная пресса обвиняла недовольных в «насилии» и «нарушении демократических норм». Врагами демократии представляли не тех, кто откровенно надругался над правами граждан, а самих граждан, добивающихся восстановления своих прав.

На протяжении большей части периода, последовавшего за распадом СССР, основные усилия левой мысли были направлены именно на поиски наиболее эффективных моделей идейной адаптации к неолиберализму, выступавшему в качестве непреодолимой «объективности», изменение которой может произойти лишь в виртуальном мире культурных символов или в заоблачных высях интеллектуальной утопии, но никак не в сфере политического действия и *борьбы за власть*. Более того, сама идея борьбы за власть систематически и сознательно дискредитировалась как наследие авторитарной культуры прошлого, а классовая борьба из вопроса практической стратегии превращалась в источник ностальгических культурных образов, никак не связанных с политикой. Можно было, конечно, поддерживать рабочие забастовки и заявлять о солидарности с деятельностью профсоюзов, но все это сводилось к своего рода социально-правозащитной деятельности, полностью вписывающейся в логику неолиберализма. Социальная борьба свелась к *сопротивлению* эксцессам системы, утратив ориентацию на *преобразование* системы, хотя бы даже и реформистское. Показательно, что именно слово «сопротивление», очень возвышенное и нагруженное ассоциациями с антифашистской борьбой времен Второй мировой войны, вошло в моду, оттеснив другие термины из лексики левых.

В 2016 г. британский марксист Алекс Каллиникос, обдумывая успех радикального левого популиста Джереми Корбина, неожиданно для многих возглавившего Лейбористскую партию, подчеркивал, что этот успех «не отменил классической дилеммы относительно реформы или революции». Каллиникос констатировал, что «подлинный тест для революционных социалистов состоит в том, в какой степени они способны объединиться со всеми, кто поддержал лейбористов во главе с Корбином»⁷. Проблема, стоящая перед левыми, состоит не в выборе между абстрактными концепциями «реформы» и «революции», а в том, что ни реформистское, ни революционное крыло движения в сложившейся исторической ситуации не могут обойтись друг без друга. Однако способны ли радикальные социалисты, постоянно призывающие к мобилизации сил и проведению всевозможных кампаний, выполнить свою часть общего дела, требующую в первую очередь не повторения красивых слов, а повседневной работы среди *реальных* масс, чьи взгляды, настроения, а главное, *объективные интересы* резко отличаются от того, что им приписывают леворадикальные идеологи?

⁷ International Socialism. 2016. №. 152. P. 5.

Важнейший культурный урок сапатистского движения в Мексике 1990-х годов состоял в том, что, отправившись в глухомань штата Чьяпас, чтобы создать там «революционный очаг», молодые столичные марксисты обнаружили, насколько их представления о народе отличаются от действительного положения дел среди индейских общин. Субкоманданте Маркос и его товарищи, ставшие позднее лидерами и идеологами сапатистов, сделали из этого правильный вывод, начав учиться у тех, кого сами еще недавно собирались поучать. Однако урок сапатизма не был усвоен или, вернее, был истолкован в духе необходимости отказа от классической марксистской теории. Что, кстати, от рази лось и на самих сапатистах, успехи которых оказались весьма ограниченными. Поворот к реальному диалогу с массами отнюдь не означает необходимости отказа от революционной традиции и теории, а лишь подтверждает, что теория должна постоянно развиваться на основе меняющегося практического опыта. Не означает это и того, что масса непременно права. Ее жизнь на каждом шагу оказывается пронизана пред-рассудками, коллективными иллюзиями и заблуждениями. Дело лишь в том, что простая констатация данного факта никоим образом не решает проблему.

Если столкновение с индейским, экзотическим «другим» заставляет белого интеллектуала признавать (как правило, в экзальтированно-избыточной форме) свою ограниченность, то столкновение с таким же точно «другим», только принадлежащим к своей собственной расе и нации, вызывает в лучшем случае недоумение, а чаще просто игнорируется. Беда современных европейских левых, однако, состоит в том, что они культурно и социально противостоят основной массе населения ничуть не меньше, чем мексиканские столичные интеллектуалы индейцам Чьяпаса. Увы, в отличие от субкоманданте Маркоса, они не отдают себе отчета в том, насколько оказались отчуждены от того самого класса, интересы которого собираются отстаивать.

Пассивное присутствие левых в неолиберальной системе сформировало определенную логику и культуру поведения, враждебную не только и не столько сложившемуся порядку, сколько стихийным низовым (и потому неизменно «неправильным») попыткам обиженных масс этот порядок изменить. Отказавшись от сталинистских претензий на «внешнее» и «авангардное» руководство массами, левая интеллигенция отнюдь не отказалась от привычки смотреть на массы свысока. Она лишь утратила к ним интерес. Если Антонио Грамши в 1930-е годы призывал к формированию слоя «органических интеллектуалов», неразрывно связанных с классом и выступающих своего рода медиумом и формулирующих на языке политики и культуры массовые интересы, то теперь торжествовал прямо противоположный принцип формирования новой интеллектуальной элиты, никоим образом, в отличие от времен большевистской революции, не претендующей на роль авангарда. Эта элита стояла над массами, не считая ни возможным, ни желательным вести эти массы за собой, воспитывать их или хотя бы интересоваться их мнением. Левая интеллектуальная элита обосновала свою состоятельность и легитимность не через одобрение «необразованными» массами, а через признание со стороны таких же точно элит, только буржуазных.

Этот «новый оппортунизм», однако, вовсе не воспринимал себя как проявление умеренности, ибо его важнейшим идеологическим и культурным компонентом был радикальный дискурс, постоянная и яркая критика капитализма, но не направленная на его практическое *здесь и сейчас* преобразование. Таким образом радикализм великих заоблачных целей выступал не только оправданием самому банальному приспособленчеству, но и выглядел своего рода постоянным укором по адресу мелочно-прагматических масс, сталкивавшихся с повседневными неприятностями и заботами. Хуже того, многие из этих проблем – например, конкуренция местных и приезжих рабочих на рынке труда – объявлялись изначально несуществующими, а следовательно, недостойными того, чтобы задумываться о какой-либо стратегии, направленной на разрешение данного противоречия. Если проблема присутствует лишь в сознании недостаточно образованных рабочих, то и для ее решения достаточно распространения в обществе правильных лозунгов, публичного осуждения расизма и ксенофобии. Как при этом складыва-

ются между собой практические отношения рабочих, принадлежащих к разным этническим или религиозным общностям, не имеет никакого значения.

Разумеется, проблема не может быть сведена к поведению левых. Ведь любой модели поведения объективно противостоят различные альтернативы, пусть и менее выгодные в краткосрочной перспективе, но технически тоже возможные. Доминирование нового оппортунизма дополнялось реальной слабостью рабочего движения, вызванной социальными, технологическими и экономическими изменениями последних 15 лет XX в.

В условиях глобализованного капитализма, восторжествовавшего после краха Советского Союза, наемный труд в традиционных индустриальных странах терпел поражение за поражением. Перемещение производств подорвало привычную географию рабочего класса, а технологические изменения разрушили привычную социально-профессиональную структуру, причем не только в развитых странах Запада и в государствах, образовавшихся после развала СССР, но также в Азии и Латинской Америке. Новое географическое разделение труда привело к тому, что работники, принадлежащие к разным профессиональным и квалификационным группам, оказались разделены еще и государственными границами. В старых развитых странах сохранялся спрос на высококвалифицированный труд, но база его воспроизводства постоянно сужалась, ибо значительная часть рабочих мест, требующих среднего уровня квалификации, переместилась в новые индустриальные страны, где, наоборот, крайне слабо был представлен наиболее квалифицированный (а потому и наиболее образованный и организованный) слой наемных работников. В то время как между рабочими средней и высокой квалификации усиливался географический разрыв, неквалифицированные работники и полупролетарии, не имеющие постоянного рабочего места и надежной специальности, оказывались наиболее мобильны, составляя все большую часть трудящегося населения во всех частях мира, включая богатые страны. Можно перенести за границу производство компьютеров, но невозможно таким же образом поступить с уборкой улиц или поджариванием гамбургеров. Зато можно привезти в богатую страну бедняков, которые будут выполнять эту работу за гроши. Низший слой наемных работников, мелких лавочников, полупролетариев тоже оказался разобщен прежде всего по этнонациональному признаку за счет массового использования труда иностранцев, которые, с одной стороны, не имели гражданских прав, а с другой – предлагали свою рабочую силу по заниженным ценам, подрывая позиции местного населения.

В результате этих процессов социальная структура общества становилась все более рыхлой и размытой. Классовые противоречия никуда не делись, более того, с каждым новым этапом развития неолиберализма они обострялись. Но объективное противостояние интересов труда и капитала отнюдь не означало автоматической консолидации трудящегося класса, укрепления его социальной структуры. Напротив, трудящиеся классы к началу XXI в. по своей структуре оказались куда слабее, куда менее интегрированными, чем за сто лет до того. Усиление классовых противоречий еще не создает автоматически условий для классовой политики, опирающейся на соответствующую низовую организацию, на *осознанные* интересы. Надо всем этим приходится работать. И господствующая среди левых идеология, культивировавшая идею «различий» вместо принципа общности, культ «меньшинств» в противовес привычной демократии большинства, не только не помогала решить проблему, но, напротив, усугубляла ее.

Накапливавшийся протест так или иначе должен был получить выход наружу, выразить себя социально и политически. И неудивительно, что сплошь и рядом он проявился в формах, непривычных для традиционной политологии и тем более – для левых.

Протестные движения иногда маркировали себя как левые, иногда как правые, иногда вообще не способны были к самоидентификации. Они имели различную политическую траекторию. Но общим было то, что все эти движения в своей идеологической противоречивости (и порой невнятности) воспроизводили рыхлую и неустойчивую структуру общества. Объеди-

няла их не идеология и, увы, не классовое сознание, а лишь нарастающее до ощущения полной непереносимости чувство – так жить больше нельзя.

Крушение неолиберализма массы осознали раньше и полнее, чем интеллектуалы и политики. Вернее даже, не осознали, а почувствовали. На своей шкуре.

Однако именно в этот момент перед левыми встал принципиальный выбор: *что является критерием солидарности – класс или культура?*

Более чем очевидно, что низы общества являются менее рафинированными, гораздо более склонными ко всевозможным предрассудкам, чем верхи. Значит ли это, что верные своей политической культуре левые должны предпочесть изысканную и облагороженную буржуазиям массе невоспитанных, необразованных и неполиткорректных рабочих? Как ни удивительно это может показаться для людей, привыкших судить о политике на основе постоянно повторяемых ритуальных лозунгов, ответ значительной части левого движения оказался простым и самоочевидным – образованная и «цивилизованная» элита с ее «европейскими ценностями» должна быть защищена от «варварских» и «безответственных» масс, к этим ценностям, увы, равнодушным.

Данная ситуация повторялась снова и снова – когда вставал вопрос о народном восстании в Новороссии или о голосовании за выход Британии из Европейского союза, когда интеллектуалы в США уговаривали избирателей поддерживать кандидата истеблишмента Хиллари Клинтон, чтобы не допустить победы популиста Дональда Трампа, или когда во Франции радикальные левые аналогичным образом призывали защитить разрушающих социальное государство социалистов от нападок Национального фронта, а затем дружно поддерживали ставленника финансового капитала Эммануэля Макрона.

В действительности выбор был вполне классовым, хотя и прикрывался различными риторическими комбинациями, призванными скрыть противоречие между исходным пунктом теоретической критики буржуазного общества и финальным пунктом практической защиты существующего порядка вещей. Однако так или иначе очередной раскол левого движения произошел – менее зрелищно, но ничуть не менее остро, чем после начала Первой мировой войны и во время Русской революции 1917 г. Это уже не раскол между правым и левым крылом движения или между революционерами и реформистами. История ставит вопрос иначе, куда более практически. Политический выбор определяется не уровнем радикализма целей и уж точно не радикализмом слов.

Он определяется солидарностью. Поддержать массовое восстание против неолиберализма или защищать существующий прядок вещей, сознавая, что массы далеко не всегда ведомы самыми прогрессивными идеями и самыми добрыми эмоциями? Выбор не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, ибо возмущение низов против извращенной формы либеральной демократии, воцарившейся в большинстве стран к началу XXI в., очень часто сопровождается ростом авторитарных настроений, потребностью в «сильной руке» и надеждами на «вождей», который далеко не обязательно поведет общество именно к новым вершинам свободы и прогресса.

Массовый протест, порожденный Великим кризисом, демократичен по сути, но не всегда по форме. Люди повсеместно хотят не только отстоять социальное государство, против которого были направлены неолиберальные реформы предшествовавших 25 лет, но и вернуть себе возможность распоряжаться собственной судьбой, и требуют уважения к правам большинства, но зачастую сами не знают, что будут делать дальше. В конечном счете угнетенное большинство наряду с другими узурпированными элитой правами требует вернуть себе и *право на ошибку*.

Любое массовое движение неоднородно, оно почти всегда включает самые разные, в том числе и авторитарные, реакционные элементы, а любое радикальное преобразование сопря-

жено с риском. Именно готовность принять риск перемен в конечном счете определяет выбор в пользу поддержки очередного восстания масс. И следовательно – в пользу Истории.

Попытки отстаивать обреченный порядок безнадежны. И представители «прогрессивной общественности», делающие своей целью его защиту, обречены потерпеть поражение вместе с ним – какими бы красивыми словами ни прикрывали они свои действия.

Однако солидарность с трудящимися массами не освобождает ни от моральной ответственности, ни от *обязанности* отстаивать собственное мнение, ни от необходимости, помогая движению, делать все, чтобы помочь ему избежать ошибок, которые будут тем более драматичными, чем более рыхлой, неоднородной и неустойчивой является его социальная база.

Те, кто принимают вызов Истории и воспринимают ее логику, далеко не всегда остаются победителями. Но они получают шанс.

I. Логика фрагментации

Главная победа, одержанная капиталом над трудом на рубеже XX и XXI вв., состояла не в глобальном сдерживании роста заработной платы, не в повсеместном ослаблении профсоюзов и даже не в том, что левые правительства и партии всех оттенков вынуждены были сдавать свои позиции. Самая значимая победа была идеологическая. И состояла она в повсеместном признании «необратимости» произошедших перемен. Неoliberalизм установил в обществе свою идейную гегемонию, с которой смирились даже многие политические группы и течения, яростно и искренне правящий класс критикующие.

Разумеется, данная идеологическая победа отражала изменившееся соотношение сил между общественными силами и классами, но одновременно закрепляла в сознании побежденных это временно сложившееся соотношение сил как нечто неподвижное, неизменное и объективное.

Реванш капитала был осмыслен в качестве объективного процесса *глобализации*, которая выступала как нечто одновременно неизбежное, нейтральное и позитивное. Этот процесс и в самом деле являлся объективным, но лишь в том смысле, что происходил не на пустом месте, имел свои предпосылки, условия и ограничения (о последних, естественно, в соответствующем дискурсе умалчивалось). Он был предопределен не только логикой экономических и технических процессов, но и результатами борьбы общественных сил, порождая собственные противоречия и конфликты, которые неминуемо должны были это соотношение менять.

Хотя идеологическое закрепление политического и социального успеха является вполне естественным для любого победившего класса, на сей раз оно создавало определенные проблемы и для победителей, и для побежденных тем, что находилось в вопиющем противоречии с доминировавшей логикой развития предшествовавших двух сотен лет. С одной стороны, торжество социальной реакции означало историческую обратимость прогресса (что, логически, могло означать и обратимость вообще любых общественных изменений, включая и только что произошедшие), а с другой стороны, логика исторического прогресса, отвергаемая тезисом о необратимости противоположно направленных перемен, создавала проблемы для легитимации самой буржуазной системы, которая так или иначе исторически обосновывала себя именно через предшествовавшее прогрессивное развитие – не случайно к традиции Просвещения и наследию Великой французской революции апеллировали как социалисты, так и либералы.

Это противоречие позднего капитализма было решено за счет одновременного распрощания двух идеологий – neoliberalизма и постмодернизма. Если neoliberalизм претендовал на определенную преемственность, лишь меняя привычные оценки и подчеркивая, что прогрессом является именно то, что ранее считалось его тормозом (сокращение прав работников, отказ от общественного контроля и регулирования и т. д.), то постмодернизм ставил под вопрос прогресс как таковой. Первая идеология предназначалась победившей буржуазии, вторая – деморализованным левым интеллектуалам. В совокупности они позволяли «танцующим поменяться местами». Консерваторы присвоили себе знамя прогресса, а их критики не только выступили противниками перемен, но и признали, в конечном счете, что у них нет объективных задач, исторических перспектив и общественно значимых целей, за которые стоило бы бороться. Иными словами, обществу незачем было объединяться. Однако в отличие от *стихийной* «войны всех против всех», описанной Томасом Гоббсом в эпоху раннего капитализма, поздний капитализм предлагал людям организованное по его правилам *упорядоченное* состязание «меньшинств», претендующих на доступ к ресурсам, неизменно контролируемым элитой. Другой вопрос, как долго это состязание могло оставаться мирным, доброжелательным и управляемым.

Культ креативного бездельника

Восстание «новых левых», разразившееся на Западе в конце 1960-х годов, своим идеологическим острием было направлено не только против власти капитала, но и против социал-демократических институтов, с помощью которых, по мнению радикальных студентов, происходило «врастание» рабочего класса в буржуазный порядок. И в самом деле, достижения послевоенной эпохи существенно смягчили конфронтацию между классами в развитых обществах Европы и Северной Америки. На этом фоне антикапиталистическое восстание студентов оказалось обречено на поражение. А вот леворадикальная критика государства и социальной политики, напротив, оказалась востребована. Только востребована не рабочим движением и противниками системы, а идеологами неолиберализма, начавшими наступление справа на те же институты, что так не нравились революционным студентам.

Те, кто критиковали социальное государство «слева», не смогли позднее объяснить, почему в годы неолиберальной реакции правящий класс с такой яростью принялся демонтировать и даже крушить те самые институты, которые левые радикалы считали (и не совсем безосновательно) подпорками буржуазного порядка. Между тем ничего загадочного тут нет: надо только осознать диалектическую противоречивость самого капиталистического развития. Социальное государство, будучи порождено развитием классовой борьбы в той же мере, как и естественно меняющимися потребностями экономики, само же меняет соотношение сил в обществе. Именно поэтому оно становится объектом ожесточенных атак со стороны капитала даже тогда, когда система испытывает объективную потребность в результатах его функционирования.

Данное противоречие, в свою очередь, предопределяет кажущуюся непоследовательность неолиберализма, который на каждом данном этапе оказывается не готов следовать собственной риторике и уничтожать все проявления социального государства разом. Отчасти это объясняется силой сопротивления трудящихся, но не только. Сопротивление масс каждый раз оказывалось эффективно, несмотря на господствующее стратегическое положение неолибералов, именно потому, что речь шла о чем-то большем, чем классовый интерес угнетенных. Требования борющихся низов отражали определенные общественные потребности, полностью игнорировать которые не могла и сама торжествующая буржуазия.

Концептуальный подход неолиберализма, таким образом, представляет собой попытку сохранить некоторые плоды работы социального государства при одновременном подрыве его институтов, его основ и, что особенно важно, при последовательном устранении их *классового* содержания. Отсюда три основных принципа неолиберальной социальной политики.

Во-первых, это коммерциализация, превращение безусловной государственной помощи и обязательств в сумму социальных услуг. Эти услуги могут быть и бесплатными, либо субсидируемыми, но меняется сам подход. Список платных и бесплатных услуг (в отличие от неотчуждаемых прав) может произвольно пересматриваться в зависимости от приоритетов текущей политики.

Во-вторых, происходит фрагментация социальной политики, замена единого комплекса общественных служб и гражданских институтов совокупностью программ, которые тоже могут варьироваться и пересматриваться, не будучи никак связаны между собой. При этом в денежном измерении социальные расходы могут даже расти, но их совокупная эффективность неизменно падает, что, в свою очередь, дает основание радикальному крылу буржуазии требовать пересмотра списка программ и их сокращения как бессмысленной траты денег.

Наконец, в-третьих, торжествует принцип адресной помощи, которая предоставляется не всем по праву рождения и гражданства, а исключительно «слабым» и «нуждающимся»,

список которых, опять же, произвольно формирует и пересматривает бюрократия вместе с либеральными экспертами, определяющими критерии.

Парадокс в том, что такой подход неминуемо увеличивает, а не сокращает зависимость граждан от государства, открывая безграничные возможности для произвола бюрократии, а также объясняет взрывообразный рост числа чиновников во всех странах, переживших рыночные реформы. Несмотря на то что неолиберальная критика социального государства обвиняет левых в насаждении иждивенчества и в патернализме, эти явления порождены как раз повсеместным внедрением адресной помощи. Принцип социального государства, предполагающий универсальность прав и равенство граждан, противоположен патерналистскому подходу, основанному на отеческой заботе власти по отношению к тем или иным категориям подданных. В гражданском социальном государстве людям нет основания благодарить чиновников и правителей за что-либо: просто должны выполняться законы и правила, общие и единые для всех. Иное дело в обществе, где господствует система адресной помощи и социальных программ. Власть вольна включать или не включать человека, группу людей или целый регион в категорию нуждающихся. В свою очередь, получатели помощи обречены встраиваться в схемы клиентелистских отношений, обрекая себя на зависимость от патрона. Тот же патерналистский принцип был реализован на межгосударственном уровне в рамках Европейского союза, где отдельные регионы или группы получали напрямую помощь от Брюсселя в обход собственного правительства, превращаясь в заложников неолиберальной интеграции. Очень наглядно это было продемонстрировано в 2016 г. в ходе референдума о выходе Британии из Евросоюза. Регионы, получавшие адресную помощь из Брюсселя, склонны были голосовать против большинства собственного народа и против интересов собственной страны, поскольку сидели на крючке соответствующих программ, становясь, по сути, коллективными клиентами еврочиновников. Именно это, а вовсе не особенности национального менталитета или сепаратизм, определило появление большинства в пользу ЕС в Шотландии, куда еврократия вполне сознательно направляла денежные потоки, стремясь создать противовес неуступчивой и самостоятельной Англии.

То же самое касается и трудовых отношений. Систематическое ослабление профсоюзов и реформирование рынка труда поставили значительную часть работников в положение «прекариата». Хотя данный термин изобретен социологами сравнительно недавно⁸, само по себе явление, им обозначаемое, отнюдь не ново. Фактически многие наемные работники оказались к началу XXI в. в том же положении, в котором находился пролетарий первой половины XIX в. до начала подъема организованного рабочего движения. Тогда социальную обстановку изменило появление сильных профсоюзов. Сейчас все обстоит несколько иначе. В отличие от промышленных рабочих, легко поддающихся организации и способных эффективно бороться за свои права, например, останавливая производство, изрядная часть прекариата сосредоточена в сфере услуг и новых постиндустриальных отраслях. Условия труда тут отнюдь не благоприятствуют организованной борьбе. В такой ситуации вопрос об укреплении позиций работников на рынке труда и изменении их статуса становится *непосредственно политическим вопросом*, который нельзя урегулировать в конфликте с отдельным конкретным работодателем, поскольку он требует реформирования системы трудовых отношений в целом.

Именно на таком фоне получает распространение идея безусловного базового дохода (ББД), которую поддерживают многие политики как справа, так и слева. С одной стороны, эта концепция предполагает возврат к универсалистскому принципу социальной политики, а с другой – устраняет связь между классовыми интересами трудящихся и развитием социального государства. Социальное государство XX в., как в социал-демократическом, так и в советском своем варианте опиралось на политику занятости, когда обеспеченные работой люди,

⁸ См.: *Standing G. The Precariat: The New Dangerous Class*. L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2011.

составлявшие основную массу населения, поддерживали своих безработных или нетрудоспособных сограждан, внося вклад в финансирование здравоохранения, образования и культуры. Тем самым воплощалась на практике марксистская идея о всеобщности труда. «Безусловный базовый доход» отнюдь не приведет к исчезновению труда или всеобщему безделью, но он призван разорвать эту связь и ослабить в обществе этику труда – как в протестантском, так и в пролетарском ее понимании. Кроме того, этот подход технически осуществим лишь в наиболее богатых странах и призван увеличить разрыв между населением стран центра и периферии, подорвать солидарность между разными группами трудящихся на глобальном уровне. Именно поэтому реформа, казалось бы воплощающая идеологию равенства и универсальности в духе коммунистических утопий, получила неожиданно большую поддержку в праволиберальных кругах некоторых богатых стран.

Правоверные лютеране, кальвинисты и баптисты (как и социалисты) всегда осуждали нетрудовой доход. Это отразилось на итогах референдума в Швейцарии, когда в июне 2016 г. население конфедерации подавляющим большинством отвергло инициативу по введению ББД. Таким же фиаско закончилась попытка сделать безусловный базовый доход лозунгом предвыборной кампании социалистов во Франции год спустя. В Финляндии ББД начал внедряться сверху в виде эксперимента, инициаторы которого стремились постепенно приучить общество к новой реальности.

Сопротивление масс людей попыткам навязать им нетрудовой доход вполне понятно. В известном смысле левая идеология логически вырастает из того самого «духа капитализма», о котором писал Макс Вебер. И соответствующая критика буржуазного общества как раз предполагала не только протест против растущего неравенства, но в первую очередь несогласие с тем, что это неравенство никак не отражает количество и качество *общественно полезного* труда, затрачиваемого людьми. Инициаторы идеи безусловного базового дохода исходили из прямо противоположной логики. Вместо того чтобы устранить нетрудовой доход, они попытались сделать его всеобщим базовым принципом.

Вопрос «кто за это заплатит» является далеко не таким сложным, как кажется, – работать будут мигранты, трудящиеся в Китае или в Индии, и, конечно, немножко роботы. А западно-европейское общество трансформируется в совокупный креативный класс, для которого труд превратился в удовольствие, развлечение, игру или деятельность по самосовершенствованию. Это тоже своего рода коммунистическая утопия, но принципиально враждебная как буржуазным, так и пролетарским ценностям, отражающая самодовольное представление креативного класса о самом себе как об идеале будущего человечества.

Безусловный базовый доход предлагался именно как альтернатива общественно полезному труду, как источник средств, позволяющий человеку принадлежать к среднему классу, не делая вообще ничего, не предпринимая никаких усилий и не принося никому никакой пользы. Иными словами, государство должно стимулировать обособление людей от общества, их социальную атомизацию и разрушение экономических связей между ними. Разумеется, авторы идеи были совершенно правы, возражая, что даже после введения новой системы найдется достаточное количество (даже, скорее всего, большинство) людей, которые сделают выбор в пользу труда. Но проблема не в том, сколько граждан останется работать или, наоборот, предпочтет паразитировать на себе подобных, а в том, каким становится базовый принцип распределения доходов, логика поведения и доминирующая этика в обществе.

Освобождение людей от «проклятья» труда – давняя идея, восходящая еще к мифам об Эдемском саде и потерянном рае. Но в марксистской традиции реализуется она не через превращение креативного бездельника в идеал свободной личности, а через преобразование и гуманизацию самого труда, когда человек перестает уже быть просто живым придатком машины. Речь шла о социальной революции или реформах, затрагивающих способ производства, общественные отношения и структуру социума, а не о перераспределении средств в

пользу тех, кто не хочет разделить со своими согражданами бремя труда. Напротив, утопия инициаторов швейцарского референдума скорее напоминала будущее из «Машины времени» Герберта Уэллса, где утонченные элои паразитируют на труде звероподобных морлоков – до тех, впрочем, пор, пока последние не вылезут из-под земли, чтобы их сожрать.

Появление подобного проекта свидетельствует о кризисе идеи общественного преобразования. Это современная позднебуржуазная социальная математика, предлагающая нам все делить, ничего не отнимая. Дискуссии о справедливости сводятся к вопросу о эффективном распределении и стабильном потреблении. Никому не интересно, каким способом создаются ценности, кто их контролирует, главное, чтобы каждый мог получить свою долю. Организация производства, власти и собственности никого больше не волнует. Вместо того чтобы изменить общественные отношения (и в том числе отношения трудовые), нам предлагают создать возможности для массового паразитического существования жителей богатых стран, которые тем более становятся заинтересованными в сохранении именно такой системы, позволяющей им жить за счет других – прежде всего за счет эксплуатации стран периферии.

Глобализация и труд

Подводя итоги двух с половиной десятилетий глобализации и неолиберальной экономической политики, восторжествовавшей в мировом масштабе после крушения СССР, эксперты отметили неожиданную тенденцию – неуклонно снижающиеся темпы роста производительности труда⁹. Это явление пытались объяснять по-разному, рассуждая то про инновационные циклы, то про исчерпание текущей парадигмы технологического развития (что звучало очень странно на фоне незадолго до того провозглашавшегося триумфа информационной революции). Но неизбежность подобного хода событий была предсказана социологами-марксистами еще в начале 1990-х годов, и это отнюдь не было связано с кризисом научного знания. Причиной неминуемой стагнации производительности труда явилась восторжествовавшая на рубеже XX и XXI вв. логика трудовых отношений.

Ключевым принципом неолиберальной глобализации является поиск капиталом все более дешевых рынков труда. То, что профсоюзы называют «гонкой на спуск», когда инвестиции приходят именно туда, где ниже заработная плата, ниже налоги, из которых финансируются социальные программы, менее строгие экологические стандарты, менее жесткое государственное регулирование, а работники слабо организованы и неспособны защищать свои права.

При таком подходе возможности правительства успешно развивать экономику своей страны зависят от того, насколько удастся сделать, чтобы население получало как можно меньше выгод от этого развития. Как только экономический рост начинает стимулировать рост заработной платы, а крепнущий средний класс начинает предъявлять требования к качеству жизни, экологии, социальным стандартам и т. д., инвестиционная привлекательность вашей страны снижается. Капитал перетекает на другие рынки.

Триумф неолиберализма был закреплен в начале 2000-х годов идеологически. Но достигнут он был не за счет идеологических побед. Точно так же нет оснований говорить о том, что за прошедшую четверть века капиталистическая экономика стала эффективнее. Скорее наоборот – уровень коррупции резко повысился, нерациональные потери и непроизводительные затраты резко выросли. Господствующие классы снова предпочитают растрачивать свои доходы на роскошное потребление, не вкладывая достаточных средств в производство. Можно вспомнить и безумные рекламные бюджеты, эффективность которых, по признанию аналитиков, зачастую равна нулю, кроме тех случаев, когда они раздражают и отпугивают потенциального покупателя (тут достигается негативная эффективность). Капитализм стал менее рациональным. Однако глобализация рынка труда резко изменила соотношение классовых сил в старых индустриальных странах – от Германии до России и от Канады до Аргентины. Повсюду призрак бегства капиталов пугает правительства и профсоюзы, заставляя их соглашаться на отказ от регулирования, на понижение или несоблюдение трудовых и экологических стандартов.

⁹ См.: Мальцев А. Технологическая стагнация в глобальной экономике // Левая политика. 2015. № 24.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.